



**Л. И. ШЕСТОВ**

## **О «Перерождении убеждений» у Достоевского**

### **I**

Достоевский, бесспорно, один из самых замечательных, но вместе с тем один из самых трудных представителей не только русской, но и всемирной литературы. И не только трудный, но еще и мучительный. Михайловский назвал посвященную им Достоевскому — сейчас после смерти последнего — т. е. в 1881 году, статью: «Жестокий талант»<sup>1</sup>. И в определении Михайловского скрыта большая, хотя и чисто внешняя, так сказать, правда о Достоевском: ему, точнее писаниям его, свойственна крайняя, безудержная «жестокость», которая и при его жизни и после его смерти отталкивала от него и продолжает отталкивать многих читателей. В этом отношении Достоевский, однако, не является исключением. В девятнадцатом столетии было еще два писателя, которым суждено было сыграть огромную роль в истории развития европейской мысли — Киргегард и Ницше<sup>2</sup> — и об обоих можно сказать «жестокое таланты». И Ницше и Киргегард еще более страстно, чем Достоевский, прославляли в восторженных гимнах жестокость. Причем, как видно из первых уже произведений Достоевского, он не был по природе своей жестоким, но, наоборот, очень добрым и любящим человеком. Жестокость пришла к нему после? Откуда, почему? Ответить на этот вопрос, значит, подобрать ключ к загадке творчества Достоевского — самого странного и парадоксального, какое только могло бы представить себе человеческое воображение. <...>

Литературная деятельность Достоевского может быть разделена на два периода. Первый начинается «Бедными людьми» и кончается «Записками из мертвого дома». Второй начинается «Записками из подполья» и заканчивается речью о Пушкине.

Из «Записок из подполья» читатель внезапно узнает, что, пока писалась другие романы и статьи, в Достоевском происходил «один из страшнейших кризисов, которые только способна уготовить себе и вынести человеческая душа». То, что Достоевский назвал «перерождением убеждений» — было не естественным, спокойным, безболезненным процессом, как это может показаться стоящему извне наблюдателю. Достоевскому пришлось вырывать из своей души то, что с ней срослось органически и как бы навеки. Об этом достаточно свидетельствует тон, в котором написаны «Записки из подполья». Уже первая глава «Записок» написана с таким огромным напряжением, что ее пришлось закончить словами: «постойте, дайте дух перевести» (Зап. из подполья, гл. I). Достоевский не говорит, он словно кричит и кричит не своим голосом, как может кричать человек, которого подвергают неслыханной пытке. Оно иначе и быть не могло: Достоевскому вдруг открылось, что идеалы, которым он отдал всю свою молодость, которым он служил с такой искренностью и беззаветностью — обманули его, что все написанное им до сорока лет («Записки из подполья» были написаны, когда Достоевскому уже исполнилось сорок лет) было сплошной ложью и при том лжью, ничем не могущей быть оправданной. <...>

«Бедные люди», последние, забитые «униженные и оскорбленные» — это постоянная тема всех ранних произведений Достоевского. Как же случилось и точно ли случилось, что Достоевский раз навсегда отвернулся от «бедных» людей, от «униженных и оскорбленных» — и поставил себе единственной жизненной задачей удовлетворение элементарных потребностей своего жалкого я? В самом деле так ожесточилось сердце Достоевского? Такие предположения не раз высказывались еще при жизни Достоевского недоброжелательной и нетерпеливой критикой. Отчасти они лежали в основании того, что дало повод Михайловскому назвать Достоевского «жестоким талантом». Но это — самое ошибочное представление, которое можно только придумать. Правда, оно нас освобождает от неслыханно трудной проблематики Достоевского — и многих это очень соблазняет, но оно же отнимает у нас окончательно и навсегда Достоевского. На самом деле произошло прямо противоположное: чем дольше жил и чем больше задумывался Достоевский над великими и последними тайнами человеческого существования, тем страстнее и беззаветнее отдавал он себя и все свои огромные силы «бедным людям», «униженным и оскорбленным», «последнему, забитому человеку». Когда в «Записках из мертвого дома» ему пришлось

столкнуться с каторжанами, с миром всеми отвергнутых и всеми забытых людей, с тем действительно страшным и им самим во всем ужасе описанным слоем общества, в котором мы все видели и видим лишь подонки, отребье человеческого рода, он реагировал на это не так, как другие его товарищи по заключению, тоже политические осужденные, он не говорил: *je hais ces brigands*. Наоборот, он и в них, этих действительно последних, ненужных, забитых и забытых людях увидел себе подобных, близких, братьев своих. <...> Через всю свою долгую жизнь Достоевский пронес те идеи, которые одушевляли его первые произведения. Напомню небольшой рассказ Достоевского — «Мужик Морей», написанный в 1876 году — за пять лет до смерти, он кончается так: «и вот когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных другим взглядом и что вдруг каким-то чудом исчезла совсем всякая ненависть и всякая злоба в моем сердце. Этот обрытый и шельмованный мужик, с клеймом на лице и хмельной, орущий свою пьяную песню, ведь это тоже может быть тот же Морей». Ясно, что перерождение убеждений нужно искать не в ожесточении его сердца, а где-то совсем в ином месте.

## II

<...> Властителем дум и вождем всех русских культурных людей этой эпохи был Белинский. Белинский впервые оценил и понял и в своих статьях показал всем, что дал России Пушкин. Белинский любил в Пушкине не только великого поэта, который, выражаясь его собственными словами о Моцарте, как некий херувим занес к нам несколько райских песен, но и человека редкой души. В своих статьях о Пушкине он с безграничной страстью и восторгом говорил о человечности Пушкина и всегда противопоставлял ее грубости нравов, жестокости и ничем не сдержанному произволу, царившему в эпоху Николая Первого — эпоху крепостного права. Белинский, вдохновляемый Пушкиным и традициями декабристов, ненавидел крепостное право, равно как и державшееся им и поддерживавшее его самовластие царя и царского продажного чиновничества. И все лучшие люди России были вместе с Белинским и заодно с Белинским врагами крепостного строя. То дело — оно по имени главного обвиняемого Петрашевского<sup>3</sup> и называлось делом петрашевцев, за которое Достоевский был осужден на смерть — было слабой попыткой борьбы с крепостным правом небольшой группы людей. Огромное

влияние на развитие русского общества имели наши западные соседи — и главным образом Франция. Французская революция, ее декларация прав человека и гражданина чаровали умы всех тех, кто считался и сам считал себя передовым человеком. Не меньшее влияние на развитие пробуждающегося сознания русского общества имела и французская литература тридцатых и сороковых годов прошлого века. <...> Во французской революции русские видели зарю занимавшейся во всем мире свободы, во французской литературе — прославление всего лучшего, всего высокого, о чем когда-либо мечтали люди. Особенно чаровала всех Жорж Занд<sup>4</sup>. Вот как о ней вспоминает Достоевский: «появилась она на русском языке примерно в половине тридцатых годов... Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть “Ускок” — одно из прелестнейших первых ее произведений. Я помню, был потом в лихорадке всю ночь. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд, по крайней мере по моим воспоминаниям, заняла у нас сразу чуть ли не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе. Даже Диккенс, явившийся у нас почти одновременно с ней, должен был уступить ей... Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь и именно потому, что сама в душе своей способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев». Так принимали русские люди сороковых годов прошлого столетия Жорж Занд, так понимали они Бальзака, Виктора Гюго, Диккенса, так преломлялось в их понимании все, что делали передовые люди Европы: во всем видели они провозглашение великой хартии новых вольностей, грандиозную и великолепную декларацию прав человека; Достоевский был целиком во власти этих идей. <...>

Ни Белинский, ни вслед за ним Достоевский никогда не соглашались принять этого ответа западной философии. Чтоб убедиться в этом, достаточно вспомнить размышления Ивана Карамазова о замученных детях. Три четверти того, что писал Достоевский посвящено той же теме, ужасам человеческого существования. И сколько он ни говорит об ужасах человеческого существования, все ему кажется мало. Но теперь он описывает эти ужасы иначе, чем делал в молодости, точнее говоря, прежде ему казалось, что в этих описаниях есть уже что-то разрешающее, положительное,

успокаивающее. Он это формулировал в словах, которые я уже приводил: «сердце захватывает, познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Теперь такое разрешение Достоевского уже не удовлетворяет, наоборот, оно раздражает, возмущает и бесконечно тревожит его. <...> Бессильная любовь к людям должна неизбежно превратиться в ненависть. Эта страшная истина, открывшаяся Достоевскому, и была началом перерождения его убеждений. Он уже не довольствуется тем, что «обливается слезами» над униженными и оскорбленными». Пред ним возникает грозный в своей очевидной неразрешимости вопрос: можно ли помочь этим «забитым» людям, о которых он столько говорил в своих юношеских произведениях, снискавших ему восторженные похвалы лучших представителей современной русской литературы. Где искать на него ответа?

### III

Смертная казнь была заменена Достоевскому четырьмя годами каторжных работ. За все эти четыре года он был как бы совсем отрезан от остальной жизни. Ему не разрешалось получать не только газеты и журналы, но даже книги. Единственное исключение, которое было допущено и, вместе с тем единственная книга, которая была у него в течение этих четырех лет пребывания в каторжной тюрьме — была Библия, Св. Писание. И нужно сказать: если, с одной стороны, источником рождавшихся в Достоевском убеждений был новый, такой чуждый для большинства людей опыт — опыт совместной жизни с отрезанными от всего мира, навсегда осужденными людьми, то с другой стороны, несомненно, что он черпал силу и бодрость, а вместе с тем и готовность на борьбу с открывшимися ему в бытии трудностями, в той загадочной книге, вышедшей из среды невежественных пастухов, плотников и рыбаков, которой судьбой суждено было сделаться книгою книг для европейских народов. И это как раз в те годы, когда просвещенный запад самым решительным образом от Библии отвернулся, усмотрев в ней пережиток идей, не оправдываемых ни нашими знаниями, ни нашим разумом. Библейская критика, начавшаяся со знаменитого «Теолого-политического трактата» Спинозы<sup>5</sup>, принесла свои плоды. Философская мысль признавала в лице ее величайших представителей, в особенности в Германии — только «религию в пределах разума» (так названо было одно из замечательнейших произведе-



ний знаменитого основателя немецкого философского идеализма Канта). Но что могла «религия в пределах разума» дать страдающему человечеству? Чем она могла помочь людям? Размышлениями о том, что дисгармония является условием гармонии? Мы помним, что уже Белинский с ужасом и отвращением отверг эту основную идею гегелевской философии. Достоевский еще решительнее и смелее вступает в последнюю и отчаянную борьбу с широковещательными и якобы все разрешающими идеями немецкой философии. Задолго до «Братьев Карамазовых» — еще в «Преступлении и наказании» — он делает первую, дерзновенную попытку противопоставить Библию и библейское учение тому, что принесла Западу совокупность добытых новым временем знаний во всех областях жизни. Несмотря на фабулу, задача Достоевского в «Преступлении и наказании» вовсе не в том, чтоб установить и выявить связь между нарушением законов и неизбежно следующей за ними ответственностью, карой. Задача его совсем иная, в известной степени даже противоположная. <...> Для Достоевского Раскольников — человек, которого, как ножницами, отрезало от всех и от всего, забытое Богом и людьми существо, обреченное уже здесь на земле на вечные адские мучения. Вспомните его разговор с проституткой Соней Мармеладовой. Раскольников пришел к ней не за тем, чтоб каяться. До самого конца в глубине души он не мог раскаяться, ибо чувствовал себя ни в чем неповинным. <...> У нее видит он Евангелие, книгу, которая была единственным предметом чтения Достоевского в течение его четырехлетнего пребывания в тюрьме. И сразу просит ее прочесть про воскресение Лазаря. «Странно было видеть, рассказывает Достоевский, как в этой маленькой комнате сошлись за чтением вечной книги убийца и распутница». Но, пожалуй, еще страннее, что убийца и распутница искали в вечной книге не то, что в ней ищут просвещенные люди нашего времени, а то, что в ней всегда искал и находил и что превыше всего ценил Достоевский. Не моральные заповеди, которые из Писания перешли в нашу этику и нашей этикой оправданы и усвоены, влекут Раскольникова к себе. Все высокие моральные идеи он допросил, испытал и убедился, что отдельно взятые, вырванные из общего содержания Св. Писания, они ему ничего не дают и дать не могут. Хотя он еще и не смеет допустить мысли, что правда не у представителей положительного знания, а там, где написаны загадочные и таинственные слова — претерпевший же до конца спасется, он все же пытается обратить свой взор в сторону тех надежд, которыми живет Соня

Мармеладова. <...> Подобно тому, как Соня и Раскольников, распутница и убийца, ищут своих надежд лишь в воскресении Лазаря, так и сам Достоевский видел в Писании не проповедь той или иной морали, а залог новой жизни — и это уже полностью сказывается в «Преступлении и наказании». От «религии в пределах разума», подменившей незаметно для всех слова Писания «Бог есть любовь» словами «любовь есть Бог», он рвется обратно к истине откровения о живом Боге. Этому научился он от последних, забытых и отверженных всеми людей, у убийцы и распутницы. Это знали и чувствовали и каторжане. Когда им казалось, что Раскольников, так мало на них похожий, самым существованием своим как бы бросает вызов Писанию, они грозно кричали ему: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь. Убить тебя надо». И Дмитрий Карамазов, после того, как судьи вынесли ему обвинительный приговор за совершенное не им убийство, непрестанно стал повторять: «как я буду под землей без Бога. Каторжному без Бога невозможно». В дневнике писателя, значит в последние годы жизни, сам Достоевский, уже от собственного имени выразил это в словах: «без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна (Достоевский подчеркивает слово «одна»), и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные высшие идеи, которыми может быть жив человек, лишь из одной ее вытекают. Во всех этих мыслях, навеянных Достоевскому ужасами жизни, открывшимися ему во время пребывания в каторге и чтением вечной книги, его неразлучной спутницы в этом период его жизни, и сказывается то, что Достоевский назвал «перерождением своих убеждений». Прежде, он, следуя своим западным учителям, думал, что мораль может справиться со всеми вопросами, задаваемыми человеку жизнью. Он не замечал, как не замечали и все, с которыми он жил, что мораль сама по себе не защитит человека, брошенного в бесконечные пространства и времена от бессмысленной жестокости произвола стихий. Теперь он узнал, что любовь к ближнему — не Бог, что любовь к ближнему при сознании, что ближний гибнет и ему нельзя помочь, превращается в ненависть, что под землей жить без Бога невозможно, что неверие самое ужасное преступление, за которое человека убить мало, что все идеи без одной высшей идеи — идеи Бога, и идеи бессмертия души так же призрачны и так же легко обращаются в свою противоположность, как и бессильная любовь к человеку неизбежно должна превратиться в ненависть к нему. Вспомните то место «Исповеди» Ипполита, где рассказывается о картине Рогожина.

Тема опять взята Достоевским из вечной книги, которую он противопоставляет истинам, естественно, добываемым нашим разумом. «Природа (т. е. то, как мы себе представляем мироздание) мерещится при взгляде на эту картину (изображающую снятого с креста Иисуса) в виде какого-то огромного, неумолимого и немомого зверя, или гораздо вернее, хоть и сказать странно, в виде какой-то громадной машины, которая бессмысленно поглотила и захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо, которое одно стояло всей природы и всех ее законов, которая и создавалась, может быть, единственно для одного только появления этого Существа». Вот как научился спрашивать Достоевский! И вопрос этот он вкладывает в уста юноши, которого тоже раздробил и уже собирается проглотить огромный, неумолимый и немой зверь. Что могут люди на такой вопрос ответить? Даже лучшие, такие, как главный герой «Идиота», князь Мышкин, могут предложить только бессильное смирение. Но бессильная добродетель возбуждает в Достоевском все негодование, на которое он только был способен. «Для чего потребовалось смирение мое? Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело», — говорит Ипполит. Не смириться, а уничтожить, истребить нужно отвратительное чудовище, хозяйничающее в жизни и безразлично и бесчувственно поглощающее все, что придется — и бедного, никому не известного юношу и бесценное существо, которое одно стояло больше, чем весь мир. В рассказе «Кроткая», напечатанном в «Дневнике писателя», Достоевский с такой же силой повторяет свой вопрос по поводу безвременно погибшей молодой жизни: «зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже?.. Косность! О природа! Люди на земле одни — вот беда. Есть ли в поле жив человек? — кричит русский богатырь. Кричу и я — не богатырь, и никто не откликается... Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание». Откуда пришла эта косность, эта безграничная власть смерти над жизнью, как бороться с ней и можно ли с ней бороться? Как Достоевский ответил на этот вопрос?

#### IV

<...> Теперь мы должны хоть на короткое время остановиться на «Бесах» и на поэме Ивана Карамазова «Легенда о Великом инквизиторе» — и тогда нам окончательно выяснится, какой смысл имело и в чем состояло «перерождение убеждений» Достоевского



и что это перерождение было в сущности тем, что Паскаль<sup>6</sup> называл своим обращением. Несмотря на сложную и запутанную фабулу, в основе «Бесы» являются продолжением той отчаянной борьбы с «каменной стеной», с «дважды два четыре», с «невозможностями», вернее с тем отвратительным, бессмысленным, ко всему безразличным чудовищем, в распоряжение которого наш разум вольно и невольно отдал судьбы людей и мира. Наша уверенность в безграничной власти этого чудовища представляется Достоевскому — опять тут можно вспомнить паскалевские слова — *un enchantement incompréhensible et un assoupissement surnaturel*. Все герои «Бесов» — и не только Кирилов и Шатов, но и Ставрогин — в конце концов только повествуют нам о том, как Достоевский, подобно Мите Карамазову, всю жизнь мучился Богом. <...> И Шатов и Ставрогин не за себя говорят, они открывают лишь нам, какими мучительными сомнениями была обуреваема душа самого Достоевского. Самое ужасное было для него сознание, что временами его интеллектуальная добросовестность требовала от него тех признаний, которые сделал Шатов Ставругину или, точнее, которые Ставрогин почти насильно вырвал у Шатова: верую в православие... но в Бога не могу верить. Быть может, это самое великое искушение, которое могла уготовить себе и вынести измученная человеческая душа: Религия еще возможна, но Бога нет, Бог невозможен или вернее невозможен тот Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, о котором говорится в Писании и которого призывал Паскаль, а возможен лишь бог философов — т. е. наряженное в пышные и торжественные одежды чудовище, раздробляющее и поглощающее все, что есть в мире и не остановившееся пред тем, чтоб раздробить и проглотить даже то существо, которое одно было более ценно, чем все мироздание. При мысли о том, что на престоле Бога воссядет это чудовище и будет для всех, как Бог — это ведь основная мысль Апокалипсиса, откровения Св. Иоанна, — Достоевский испытывает те припадки безысходного, неудержимого отчаяния, которые являются, по-видимому, условием рождения великих, последних постижений и того необычайного подъема сил, который такими постижениями предполагается. Уже «Бесы» — одно заглавие чего стоит — показывают нам с нестерпимой почти для нас наглядностью, во что превращается человеческая жизнь, оторванная знанием от ее Творца. Мы задыхаемся, и все действующие лица «Бесов» задыхаются в тяжелой и смрадной атмосфере бессмысленно взбаламученных человеческих страстей. В «Братьях Карамазовых» изображаются не менее потрясающие картины

жизни людей, утративших связь с живым Богом. До своего кульминационного пункта ужасы доходят в «Исповеди» Великого инквизитора. Великий инквизитор, как и герой «Записок из подполья», как юноша Ипполит из «Идиота», как Ставрогин, Кириллов и Шатов из «Бесов» — все они на разные лады повторяют и развивают ту последнюю и страшную мысль, которая родилась у Достоевского, когда он вместе с гуманизмом принял от своего учителя, Белинского, непосильную для человека задачу добиться отчета о судьбе всех жертв истории случайностей и т. д. и т. д. Есть ли кто-нибудь в мире, к кому можно с таким вопросом обратиться? Шатов сказал Ставрогину, что он будет верить в Бога, и таким тоном сказал, что всякому ясно, что ни он, ни Ставрогин в Бога верить никогда не будут. Все, что мы слышим от Великого инквизитора в сочиненной Иваном Карамазовым поэме, таит в себе то же признание. Вот в каких словах сам Великий инквизитор формулирует это, обращаясь к плененному им Христу: «И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с кем говорю?.. Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна». С ним — то есть с тем, который пришел в храм и сел на престол Бога. Кто так говорит? Не человек, «желающий лишь только материальных, грязных благ», как выражается о нем Иван Карамазов, «а тот, кто сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но, однако же, всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ Божиих остались устроенными лишь в насмешку. В этих словах Достоевского снова доносится до нас то, что когда-то его учитель, Белинский, высказал в своем знаменитом письме: не хочу ни совершенства, ни счастья, ни всех блаженств, о которых твердят мне мудрецы, если не буду спокоен за всех своих братьев по крови. С верхней ступени бросаюсь вниз головой — совсем как Великий инквизитор — к врагу человеческого народа. И казалось бы, после того, как пред лицом самого Бога инквизитор произнес свое кощунственное: «Мы не с Тобой, а с ним», — земля должна была расступиться пред несчастным и поглотить его, обреченного на вечные муки. Но в легенде Карамазова конец другой: «Узник все время слушал его, проникновенно и тихо смотря ему прямо в глаза и, видимо, ничего не желая возразить. Старику хотелось бы, чтоб тот сказал ему что-нибудь, хотя бы горькое и страшное. Но Он вдруг молча

приближается к старику и тихо целует его в бескровные девяностолетние уста». Так Бог Писания отвечает на величайшую хулу на него. И вот когда Достоевскому открывается эта великая, непостижимая для нашего эвклидова ума истина, в нем происходит то загадочное преобразование, которое он назвал перерождением своих убеждений. Не любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Не немощная, бессильная любовь, которая может лишь обливаться слезами над затравленным собаками мальчиком, над бьющей себя кулачком в грудь девочкой, замученной своими собственными родителями, над несчастным Ипполитом, осужденным без вины на смерть и т. д., а любовь того, кто мир сотворил и воле которого все покорны. В такие минуты Достоевский преодолевает и «дважды два четыре», и «каменные стены», и «законы природы», и то страшное чудовище, которое проглотило все, что было в мире самого ценного, — в такие минуты он пишет «Мальчика у Христа на елке» — его ответ на страшный и как бы не допускающий никакого ответа вопрос Белинского. Любовь — за которой стоит всемогущий Бог, уже никогда не обратится в ненависть. Ибо Бог защитит и успокоит тех, кто не нашел защиты и успокоения ни у людей, ни у человеческой мудрости. Чтоб обрести эту истину, Достоевский прошел сам и провел нас всех через те ужасы, которые изображены в его сочинениях, показал нам земной ад, как некогда Данте показал ад потусторонний. Из глубин ужасов и последних падений он научился взывать к Господу. Я вспомнил сейчас его «Мальчика у Христа на елке».

Так ответил Достоевский в последнем счете на заданный ему учителем неразрешимый вопрос. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Голос Достоевского все растет и крепнет и достигает неслыханной силы. Иной раз кажется, что слышишь не слова Достоевского, а один из несравненных псалмов царя Давида. Я и закончу свои беседы одним из таких отрывков. «Алеша Карамазов, вдруг повернувшись, вышел из кельи почившего старца. Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Светлая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на зем-

лю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, падая и обливая ее своими слезами, и иступленно клялся любить ее, любить во веки веков. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах и не стыдился иступления своего. Как будто нити от всех этих миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь мирам иным».

